

ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПЬЕСЫ

А. ФАДЕЕВ
Ю. ОЛЕША
М. ШОЛОХОВ
И. МАКАРОВ
А. СВИРСКИЙ

ПОЭМЫ, СТИХИ

Д. АЛТАУЗЕН
Э. БАГРИЦКИЙ
А. ЖАРОВ
Н. ДЕМЕНТЬЕВ

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ

А. СЕРАФИМОВИЧ
Н. АСЕЕВ
А. КАРАБАЕВА

ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

Н. АЗВОЛИНСКАЯ
В. СТАВСКИЙ
М. ЧУДНОВ
Е. ЛОМТАТИДЗЕ

К Р И Т И К А

В. ЕРМИЛОВ
И. ГРОССМАН-РОЩИН

БИБЛИОГРАФИЯ

К Н И Г А

П Е Р В А Я

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1 9 2 9

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ

К Н И Г А
П Е Р В А Я
Я Н В А Р Ь

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА 1929

Мосгублит № 33.948. З. Т. 693. Тираж 10.001.—12000.

Отпечатано в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
МОСПОЛИГРАФА.
МОСКВА,
Арбат,
Филип.,
13.

Т И Х И Й Д О Н

РОМАН

МИХ. ШОЛОХОВ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В АПРЕЛЕ 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхне-Донского — пошли с Мироновым и отступившими частями красногвардейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области, с боями освобождая каждую пядь родной земли.

Хоперцы ушли с Мироновым почти поголовно, усть-медведицкие — наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни гучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкаска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был очищен от большевиков. Новочеркасск попрежнему стал заправлять политикой. После того, как явственно наметилась необходимость в создании своей областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском в двадцатых числах апреля была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что

в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на войсковой Круг.

Мирон Григорьевич Коршунов зачитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе, в числе остальных делегатов на Круг, прокатили и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Мирону Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерово керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы ситов и бабиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирона Григорьевича. Сваты рядом сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились: в Миллерово стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

— А што, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышину!

— Нет, — уверил Пантелей Прокофьевич: — Матвей Кашулин надьсь был там, гутарил — робеют немцы... Опасаются казаков трогать.

— Ишь, ты! — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем; он, видимо, успокоившись, перевел разговор: — Какую ж власть установите, как думаешь?

— Атамана посодим. Свово! Казака!

— Давай бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Штоб без браку был.

— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

— Так, так, сваток... Их и дураков не сеют, — сами родются. — Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснущатое лицо. — Я свово Митьку думал в люди вывесть, хотел, штоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, — убог на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сынах, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, щелкая нестертой подковой; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

— Идей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.

— Пошли по Хопру. Федотка-Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился, гутарил, кубыть держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Сзади за Доном на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьи горбы бурунов скупно отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно: аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо зеленым опереньем, зацветала степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток,

а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинку изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе и ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого хохла, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландштурмистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, резко махнул рукой:

— Остановись, казак!

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый, упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже с лампасами! Его сыны, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат.

— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к чорту! — без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке:

— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту, — немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем; намотав на грядущку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брочки, зашел наперед лошадям.

«Свата нет, — мельком подумал он и похолодел. — Заберут коней! Эх, врюхался! Чорт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

— Оставь! — потянулся Мирон Григорьевич вперед и побледнел заметней. — Не трожь чистыми руками! Не дам коней!

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссиня-чистые зубы, зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Он взялся за ремень висевшей на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул немца по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова, и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз — уже по затылку — зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели его из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороны таким бешеным наметом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, господи! Во имя отца!» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полостью, но разум осилил, — повернул в сторону. Двенадцать верст до слободы Ореховой летел он, — как после сам говаривал, — шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскакал к знакомому хохлу и ни жив, ни мертв рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Хохол укрыть — укрыл, но предупредил:

— Я сховаю, но як будут дуже пытать, то я, Григорич, укажу, бо мини ж расчету нэма! Хатыну спалють, тай и на мини надинуть сворку.

— Уж ты укрой, родимый! Да я тебе отблагодарю чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь, — овец пригоню гурт! Десятка первеущих овец не пожалею! — упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под сарай.

Пуще смерти боялся он погони, простоял во дворе у хохла до вечера и смылся едва лишь смерклось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглащенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тархтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоновским. Не доезжая его, достал из-под сиденья отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, и облегченно крикнул:

— А что — догнали, чортовы сыны? Мелко вы плавали, да зад у вас наруже!

Овец хохлу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил:

— Овечки-то у нас попередохли... Плохо насчет овечков, а вот груш с собственнова саду привез тебе по доброй памяти, — высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: — Груши у нас хороши — расхороши... улежалые... — и распрощался.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, сказал покровительственно-менторским тоном:

— Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, если этот человек не будет лишен государственного разума и сумеет вести лойяльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с ба-

рышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного и всего лишь несколько десятков представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсади двое мигулинцев, подошло еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

— Лучше покойного Каледина, царство ему небесное, не сыскать, — вздохнул сивобородый шумилинец.

— Почти што, — согласился еланский.

Один из присутствовавших при разговоре, под'есаул, делегат Бессергеновской станицы, не без горячности заговорил:

— Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

— Какой это Краснов?

— Как, то-есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир 3-го конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец!

Восторженная, захлебывающаяся речь под'есаула взбеленила делегата — представителя одной из фронтовых частей.

— А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался не плохо. Так и захряс бы в бригадных, кабы не революция!

— Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Под'есаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал:

— Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством... Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его никудышным... А там кто его знает... Может, совсем навыворот...

— А за што ему георгия дали? Дурак!

Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика:

— Понабрались дурацкого духа, всех поносите, все вам нехороши... Ишь, какую моду взяли! Поменьше б гутарили — не было б такой разрухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасны, все низовцы, горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал — георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества; либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военный муштровки, но, как-никак, и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве», а раз писатель — значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед образом его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры — приверженцы Краснова — шопотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и, если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву, — капут всем казачьим привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заволосатевшие уши казаков:

— Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к чорту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести и демократическую невинность сохранить. Вот, поглядите, продаст он Дон первому же покупателю на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот — совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

— Пригласить генерала Краснова!

— Милости...

— Покорнейше...

— Просим!

— Нашу гордость!

— Нехай придет, расскажет нам про жизнь! —

Весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать, даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец-генерал, в мундире, с густым засевом крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, — зал покрылся рябью хлопков, ревом; хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом

генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи, ныне распятой, оплеванной подсолнечной лузгой...

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки, утирку... «Вот это — генерал! Сразу видать, што человек! Как сам император, ажник подходимей на вид. В роде аж шибается на покойнова Александра!» — думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова.

Круг — названный «Кругом спасения Дона» — заседал неспешно. По предложению председателя Круга — есаула Янова, было принято постановление о ношении погон и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о России, поруганной большевиками, о ее былой мощи, о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков.

— Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полновучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании 107 голосами против 13 и при 10 воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

— Страна наша накануне гибели! Лишь при условиях полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют решительных и крутых действий. Только тогда можно работать с уверенностью и отрядным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг — верховный выразитель воли Дона — тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распущенности, и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же Кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольная полосы (казаки, иногородные, калмыки), и лишь правительственный герб в угоду национальному духу претерпел радикальное изменение: взамен хищного двухголового орла, распростершего крылья и когти, изображен был нагой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

— Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить, либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться фривольной шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

— Могу. Статьи 48, 49 и 50 — о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг — кроме красного, любой герб — кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн — кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка, члены Круга довольно посмеивались:

— Ну, и отмочил атаман!

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга раз'езжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернуться к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик, в ушах его еще полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Уже от'ехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна, встречь поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные ширококрупные лошади мотали куцо обрезанными хвостами, лоснились под ярким солнцем. Клонясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбатился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.

II

С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, масло, яйца, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых сюртуках, с привинченными к винтовкам штыками.

Добротные, желтой кожи, немецкие сапоги, с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи, баварская конница поила лошадей в Дону... А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персияновке, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го донского ка-

зачьего полка легла под Старобельском, «творя волю пославшего их», завоеывая области — лишний кус украинской территории.

На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал Миронов с отрядом казаков-красногвардейцев, стекшихся к нему с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексеева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.

На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Миронов уходил к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был освобожден от большевиков. К концу лета донская армия, сбитая из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывавшими из Новочеркасска офицерами, армия обрела подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним уцелевшим от германской войны составом; полки сбивались в дивизии, в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.

К концу лета боевые единицы, скомпанованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое — первую на рубеже слободу Воронежской губернии, — повели осаду уездного города Богучара.



Уже четверо суток сотня татарских казаков, под командой Петра Мелехова, шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступал к линии железной дороги Миронов. За все время они не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета, в переход оставляли за собой не больше трех десятков верст.

На пятые сутки вступили в станицу Кумылженскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком-самосадом.

— Вот забава, будь она проклята! — крикнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз.

— Вскочила, што ль? — улыбнулся Григорий.

— Глаз щипет. Стал-быть, она ядовитая, дьявол.

Христоня, отдирая красное веко, провел по главному яблоку шершавым пальцем; оттопырив губу, долго тер тыловой стороной ладони глаз.

Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибывался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу.

Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор Татарский в зятя. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщев и медвежковатый увалень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня — Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков.

Вторым взводом командовал Николай Кошевой, третьим — Яков Коловейдин и четвертым — Митька Коршунов, после казни Подтелкова спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники.

Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала, залитая водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой жугой и талами, вилюжилась по лугу. В задних рядах басисто хохотал Яков Подкова, тенорком подголашивал ему Андрюшка Кошулин, тоже получивший урядницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников.

Петро Мелехов ехал с Латышевым сбочь рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темяком шашки, Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухлощекое лицо Латышева грелась улыбка, обкуренные, с подточенными коронками зубы его изжелта чернели из-под небогатых усов.

Сзади всех на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеевич, сын Бреха, прозванный казаками «Антипом Бреховичем».

Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, из'язвленный оспяной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальнюю путину: сумы седел припухли от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить: каждый ремешек испетлян дратвой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что война не будет, то теперь шли с покорным безотрадным сознанием: крови не избежать; висло над каждым: «Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить».

Проехали хутор Крепцы. Крытые камышом редкие курени замигали вправо. Аникушка достал из кармана шаровар бурсак, откусил половину, хищно оголив мелкие резцы, и суетно, как заяц, задвигал челюстями, прожевывая.

— Оголодал? — скосился на него Христоня.

— А то што ж... Женушка напекла.

— А и жрать ты здоров! Череву у тебя, стал-быть, как у борова. — Он повернулся к Григорию и каким-то сердитым и жалующимся го-

лосом продолжал: — Жрет, нечистый дух, неподобно! Куда он столько пихает? Приглядываюсь к нему эти дни и вроде ажник страшно, — сам, стал-быть, небольшой, а уж лопаает, как на пропасть.

— Свое ем, стараюсь. К вечеру съешь барана, а утром захочешь рано. Мы всякий фрукт потребляем, нам все полезно, што в рот полезло.

Аникушка похохатывал и мигал Григорию на досадливо плевавшего Христоню.

— Петро Пантелеев, ночевку где далаешь? Вишь, коняшки-то поподбились, — крикнул Томилин.

Его поддержал Меркулов:

— Ночевать пора. Солнце садится.

Петро махнул плетью.

— Заночуем в Ключах. А, может, и до Кумылги потянем.

В черную курчеватую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул Томилину:

— Выслуживается перед Алферовым, сука! Спешит...

Кто-то из озорства, подстригая Меркулова, окорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бородку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому, смешно, — это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут:

— А ты не выслуживаешься?

— Чем это?

— Бороду под генерала постриг. Небось, думаешь, как обрезал под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь?

— Дурак, чорт! Та ему всурьез, а он гнет.

За смехом и разговорами в'ехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирьером Андриушка Кашулин встретил сотню у крайнего двора.

— Наш взвод — за мною! Первому — во три двора, второму — по левой стороне, третьему — вон этот двор, где колодезь и ишо четыре сподряд.

— Ничево не слыхал? Спрашивал? — под'ехал к нему Петро.

— Ими тут и воняет. А вот медов, парень, тут до чорта. У одной старухи триста колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколом!

— Но-но, не дури! А то я расколю! — Петро нахмурился, тронул коня плетью.

Разместились. Убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов на прошлогодней порубки ольхах расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том, о сем и разошлись спать.

Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылженской сотню догнал нарочный. Петро вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему под'ехал Григорий.

— Приказ?

— Ага!

— Чево пишут?

— Дела... Сотню велят сдать. Всех моих одногодков отзывают, формируют в Казанке 28-й полк. Батарейцев тоже, и пулеметчиков.

— А остальным куда ж?

— А вот тут прописано: «В Арженовский поступить в распоряжение командира 22-го полка. Двигаться безотлагательно». Ишь, ты! — «безотлагательно».

Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь.

— Трогай! — крикнул Петро.

Сотня рванулась и пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылженской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу. Решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру.

— Пойдем на плац.

Григорий молча вышел за ворота. Их догнал-было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его:

— Уйди, Митрий. Хочу с братом погутарить.

— Эт-то можно, — Митька понимающе улыбнулся, отстал.

Григорий, искоса наблюдавший Петра, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью:

— Чудно все-таки: отъехали от дома сто верст, а народ уж другой. Гутарют не так, как у нас, и постройки другога порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой крышей, как часовня. У нас таких нету. И вот, — он указал на ближний богатый курень, — завалинка тоже обметана тесом, штоб дерево не гнило, так, што ли?

— Оставь, — сморщился Петро. — Не об этом ты гутаришь... Погоди, давай станем к плетню. Люди глядят.

На них любопытствующе поглядывали шедшие с плаца бабы и казаки. Старик, в синей распоясанной рубахе и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем, приостановился.

— Днюете?

— Хотим передневать.

— Овесец коням есть?

— Есть трошки, — отозвался Петро.

— А то зайдите ко мне, всыплю мерки две.

— Спаси Христос, дедушка!

— Богу святому... заходи. Вон мой курень, зеленой жостью крытый.

— Ты об чем хочешь толковать? — нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий.

— Обо всем. — Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный ус. — Время, Гришатка, такое, што, может, и не свидимся...

Неосознанная враждебность к брату, ужалившая-было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалкой петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся названием «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку, огрубел лицом, сказал:

— Ты, гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехали, — один в одну сторону валится, другой в другую, как под лемешом. Чортова жизнь и время страшное. Один другога уж не угадывает... Верно в песне поется: «Ленин, Троцкий, Дудаков нас ставили дураков». Вот ты, — круто перевел он разговор, — ты вот — брат мне родной, а тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня... Правду говорю? — и сам себе ответил: — Правду. Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, до се себя не нашел.

— А ты нашёл? — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.

— Нашел. Я на свою борозду попал! С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду.

— Хо? — обозленную выжал Григорий улыбку.

— Не буду! — Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный. — Меня красным арканом не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не хочу, не буду! Да ить как сказать... Незачем мне к ним, не по дороге!

— Бросай этот разговор, — устало попросил Григорий.

Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом.

У ворот Петро, приотставая, спросил:

— Ты скажи, я знать буду... скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?

— Навряд... Не знаю.

Григорий ответил вяло, неохотно. Петро вздохнул, но расспрашивать перестал. Ушел он взволнованный, осунувшийся. И ему и Григорию было до-нельзя ясно: стежка, прежде сплетавшая их, поросла непролазью пережитого, — к сердцу не пройти; так над баераком по кособокому склону скользит, вьется гладко выстриженная копытами тройка и вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезанная, — нет дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком.

... На следующий день Петро увел назад в Вешенскую половину сотни. Оставшийся молодняк под командой Григория двинулся на Арженовскую.

С утра нещадно пекло солнце. В буром мареве кипятилась степь. Сзади голубели лиловые отроги прихонерских гор, шафранным разливом лежали пески. Под всадниками шагом качались потные лошади. Лица казаков побурели, выцвели от солнца. Подушки седел, стремяна, металлические части уздечек накалились так, что рукой не тронуть. В лесу — и то не осталось прохлады, — парная висела духота и крепко пахло дождем.

Густая тоска полонила Григория. Весь день он покачивался в седле, несвязно думая о будущем; как горошины стеклянного мониста, перебирал в уме петровы слова, горько нудился. Терпкий бражный привкус полыни жег губы, дорога дымилась зноем. Навзничь под солнцем лежала золисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветры, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль.

К вечеру прозрачная мгла затянула солнце. Небо вылиняло, посерело. На западе грузные появились облака. Они стояли неподвижно, прикасаясь обвислыми концами к невнятной, тонко выпряденной ниши горизонта. Потом, гонимые ветром, грозно поплыли, разбрасывая низко волоча бурые хвосты, сахарно белея округлыми вершинами.

Отряд вторично пересек речку Кумылгу, втиснулся под купол тополевого леса. Листья под ветром рябили молочно-голубой изнанкой, согласно басовито шелестели. Где-то по ту сторону Хопра из ярко белого подола тучи сыпался и сек землю косою дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги.

Ночевали на хуторе небольшом и пустынном. Григорий убрал коня, пошел на пасеку. Хозяин — престарелый курчавый казак — выбирая из бороды засетившихся пчел, встревоженно говорил Григорию:

— Вот эту колодку надьсь купил. Перевозил сюда, и детка отечевой-то вся попомерла. Видишь, тянут пчелы? — он, остановившись около долбленного улья, указал на летку: пчелы беспрестанно вытаскивали на лазок трупки детвы, слетали с ними, глухо жужжа.

Хозяин жалостливо щурил рыжие глаза, огорченно чмокал губами. Ходил он порывисто, резко и угловато размахивая руками. Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спешащими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним на пчельнике, где размеренно и слаженно крупнейший коллектив пчел вел медлительную мудрую работу. Григорий присматривался к нему с легким чувством недоброжелательства. Чувство это непроизвольно порождал состряпанный из порывов пожилой широкоплечий казак, говоривший скрипуче и быстро.

— Нонешний год взятка хороша. Чебор цвел здорово, несли с нево. Рамошные — способней ульи. Завожу вот...

Григорий пил чай с густым, тянким, как клей, медом. Мед сладко пах чеборцом, троицей, луговым цветом. Чай разливала дочь хо-

зяина — высокая, красивая жалмерка. Муж ее ушел с Мироновым, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие неяркие губы. Она тянулась к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные курчавые волосы подмышкой. Он не раз встречал ее шупающий, любознательный взгляд, и раз даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку.

— Я вам в горнице постелю, — после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто между прочим, сказала невнятно и быстро: — Я под сараем ляжу... Душно в курнях, блохи кусают...

Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и здоровым запахом незахвачанной свежести. На ее сильной тонкой и смуглой руке Григорий прозаревал до рассвета. Она с силой, неожиданной для него, всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусала его губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких зверушечных зубов. После третьих кочетов Григорий собрался-было перекочевать в горницу, но она его удержала.

— Пусти, любушка, пусти, моя ягодка! — упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться.

— Полежи ишо чудок... Полежи!

— Да, ить, увидют! Гля, скоро рассветет!

— Ну, и нехай!

— А отец?

— Батяня знает.

— Как знает? — Григорий удивленно подрожал бровью.

— А так...

— Вот так голос, откель же он знает?

— Он, видишь... он вчерась мне сказал, дескать, ежели будет офицер приставать, — переспи с ним, примолви ево, а то за Гераську коней заберут, либо ишо чево... Муж-то, Герасим мой, с Мироновым...

— Во-о-он как! — Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен.

Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула:

— Мой-то разлюбезный не такой, как ты...

— А какой же он? — заинтересовался Григорий, потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба.

— Никудышный... квелый... — она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы. — Я с ним безо всякой сладости жила... Не гош он по бабьему делу...

Чужая, детски-наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза.

Сквозь камышевую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падающая звезда, оставив на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закричали материки, с любовной сипотцой отозвался селезень.

Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его, — сложный запах чеборцового меда, пота и тепла.

Через два часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд, кивнул головой проходившей в курень хозяйской дочери. Она наклонила голову, тепла в углах тонких, неярко окрашенных губ улыбку и невнятную горечь сожаления.

По проулку ехал Григорий, оглядываясь. Проулок полудугой огибал двор, где он ночевал, и он видел, как пригретая им казачка смотрела через плетни ему вслед, поворачивая голову, щитком выставив над глазами узкую загорелую ладонь. Григорий с неожиданно ворохнувшейся тоской оглядывался, пытался представить выражение ее лица, всю ее, — и не мог. Он видел только, что голова казачки в белом платке медленно поворачивается, следя глазами за ним, как поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдающего за кружным походом солнца.



Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенской на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую.

— Почему отсылаете назад? — спросил Михаил станичного писаря.

— Получено распоряжение из Вешек, — неохотно ответил тот.

Оказалось, что мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков, и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого, как единственного кормильца в семье, назначить в атарщики. К вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил.

В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил:

— Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня сукин сын! Мать твою жалко, а то бы... Ступай!

По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за полтораста верст ходьбы, ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти постаревшее лицо матери и впервые замеченную им пряжу седин в ее голове.

К югу от станицы Каргинской на двадцать восемь верст в длину и шесть в ширину разлеглась целинная, извеку непаханная, заповедная степь. Кус земли во многие тысячи десятин был отведен на попас станичных жеребцов, потому и назван — отводом. Ежегодно на егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен выводили атарщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была построена среди отвода конюшня с летними открытыми станками на 18 жеребцов, с рубленой казармой около для атарщиков, смотрителя и ветеринарного фельдшера. Казаки вешенского юрта пригоняли маток-кобылиц, фельдшер с смотрителем следили при приеме маток, чтоб ростом каждая была не меньше двух аршин и возрастом не моложе четырех лет. Здоровых отбивали в косяки штук по сорок, каждый жеребец вводил свой косяк в степь, охраняемый атарщиком, ревниво соблюдающий своих кобылиц.

Мишка ехал на единственной в его хозяйстве кобыле. Мать, провожая его, утирая завеской слезы, говорила:

— Огуляется, может, кобылка-то... Ты уж блюди ее, не заезжай. Ишо одну лошадь — край надо!

В полдень за парным маревом, струившимся поверх ложбины, увидел Мишка железную крышу казармы, изгородь, серую от непогоды тесовую крышу конюшни. Он заторопил кобылу; выправившись на гребень, отчетливо увидел постройки и молочный разлив травы за ними. Далеко, далеко на востоке гнедым пятном чернел косяк лошадей, бежавших к пруду, в стороне от них рысил верховой атарщик — игрушечный человечек, приклеенный к игрушечному коньку.

В'ехав во двор, Мишка спешил, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из атарщиков, невысокий, веснучатый казак.

— Кого надо? — недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы.

— Мне бы до смотрителя.

— Струкова? Нету, весь вышел. Сазонов, помочник ихний, тут. Вторая дверь с левой руки. А на што понадобился? Ты откель?

— В атарщики к вам.

— Пихают абы ково... — бормоча, атарщик пошел к выходу. Веревоочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, махнул плетью, уже миро-

любовно сказал: — У нас, братуша, служба чижолая. Иной раз по двое суток с коня не слазишь.

Мишка глядел на его нераспрявленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака рисовалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги атарщика развеселили Мишку. «Будто он сорок лет верхом на бочонке сидел», — подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку.

Сазонов принял нового атарщика величественно и равнодушно. Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр Атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить Кошевого на довольствие, вместе с ним вышел на крыльцо, накалиенное белым застойным зноем.

— Неуков учить умеешь? Об'езживал?

— Не доводилось, — чистосердечно признался Мишка и сразу заметил, как посоловевшее от жары лицо смотрителя оживилось, струей прошло по нем недовольство.

Почесывая потную спину, выгиная могучие лопатки, смотритель тупо глядел Мишке меж глаз.

— Арканом могешь накидывать?

— Могу.

— А коней жалеешь?

— Жалею.

— Они — как люди, немые только. Жалей, — приказал он и, беспричинно свирепея, крикнул: — Жалеть, а не то што — арапником!

Лицо его на минуту стало и осмысленным и живым, но сейчас же оживление исчезло, твердой корой тупого равнодушия поросла каждая черта.

— Женатый?

— Никак нет!

— Вот и дурак! Женился бы, — обрадованно подхватил смотритель.

Он выжидающе помолчал, с минуту глядел на распахнутую грудину степи, потом, зевая, пошел в дом. Больше за месяц службы в атарщиках Мишка не слышал от него ни единого слова.

Всего на отводе было пятьдесят пять жеребцов. На каждого атарщика приходилось по два, по три косяка. Мишке поручили большой косяк, водимый могучим старым жеребцом Бахарем, и еще один, поменьше, насчитывавший около двадцати маток с жеребцом по кличке «Банальный». Смотритель призвал атарщика Солдатова Илью, одного из самых расторопных и бесстрашных, поручил ему:

— Вот новый атарщик, Кошевой Михаил с Татарскова хутора. Укажи ему косяки Банальнова и Бахаря, аркан ему дай. Жить будет в вашей будке. Указывай ему. Ступайте.

Солдатов молча закурил, кинул Мишке:

— Пойдем.

На крыльце спросил, указывая глазами на сомлевшую под солнцем мишкину кобыленку:

— Твоя животина?

— Моя.

— Сжеребая?

— Нету.

— С Бахарем случи. Он у нас королёвскова завода, полумесок с англичанином. Ай-да и резвёй! Ну, садись.

Ехали рядом. Лошади по колено брели в траве. Казарма и конюшня остались далеко сзади. Впереди, повитая нежнейшим голубым куревом, величественно безмолствовала степь. В зените за прядью опаловых облачков томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат. Вправо за туманно-очерченной впадиной лога жемчужно-улыбчиво белела полоска Жирова пруда. А кругом,—насколько хватал глаз, — зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте — недосягаем и сказочен сизый грудастый курган.

Травы от корня зеленели густо и темно, вершинки просвечивали на солнце, отливали медянкой. Лохматился невызревший султанистый ковыль, круговинами шла по нем вихрастая имурка, пырей жадно стремился к солнцу, втягивая обзерненную головку. Местами слепо и цепко прижимался к земле низкорослый железняк, изредка промеренный шалфеем, и вновь половодьем расстился взявший засилье ковыль, сменяясь разноцветьем, овсюком, желтой сурепкой, молочаем, чингиской, травой суровой однолюбой, вытеснявшей с занятой площади все остальные травы.

Казачи ехали молча. Мишка испытывал давно неведанное им чувство покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием. Спутник его просто спал в седле, клонясь к конской гриве, сложив на луке веснушчатые руки, словно перед принятием причастия.

Из-под ног взвился стрепет, потянул над балкой, искрясь на солнце белым пером. Приминая травы, с юга поплыл ветерок, с утра, может быть, бороздивший Азовское море.

Через полчаса наехали на косяк, пасшийся возле Осинога пруда. Солдатов проснулся, потягиваясь в седле, лениво сказал:

— Ломакина Пантелюшки косяк. Штой-то ево не видно.

— Как жеребца кличут? — спросил Мишка, любяясь светло-рыжим длинным донцом.

— «Фразер». Злой, проклятый! Ишь, вылупился как! Повел!

Жеребец двинулся в сторону, и за ним, табунясь, пошли кобылицы.

Мишка принял отведенные ему косяки и сложил свои пожитки в полевой будке. До него в будке жили трое: Солдатов, Ломакин и наемный косячник — немолодой, молчаливый казак Туроверов. Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязан-

ностей, на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал:

— По праву должен ты службу на своей коняке несть, но ежели на ней изо дня в день мотаться, — поставишь на постав, а ты пусти ее в косяк, — чужую заседлай и меняй их почаще.

На мишкиных глазах он отбил от косяка одну матку и, рассказавшись, привычно и ловко накиннул на нее аркан. Оседлал ее мишкиным седлом, подвел дрожащую, приседающую на задние ноги к нему.

— Садись. Она, видно, неука, чорт! Садись же! — крикнул он сердито, правой рукой с силой натягивая поводья, левой сжимая кобылицын раздувающийся храп. — Ты с ними помягче. Это на конюшне зыкнешь на жеребца: «к одной!», он и жметя к одной стороне станка, а тут не балуйся! Бахаря особливо опасайся, близко не под'езжай, зашибет, — говорил он, держась за стремя и любовно лапая переступавшую с ноги на ногу кобылку за тугое атласно-черное вымя.

III

Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или, сидя, дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как пасомые ветром странствуют по небу косяки опущенных изморозной белью туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе вдали от людей ему даже нравилась, но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, — проснулся невнятный страх. «Там люди свою и чужую жизнь решают, а я кобылок пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет», — трезвея, думал он, но в сознание сочился и другой ленивый нашопот: — «Пуускай там воюют, там смерть, а тут приволье, трава да небо. Там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело до остальных?» Мысли стали ревниво точить покорную мишкину успокоенность. Это погнало его к людям, и он уже чаще, нежели в первые дни, искал встреч с Солдатовым, гулявшим со своими косяками в районе Дударева пруда, пытался сблизиться с ним.

Солдатов тягот одиночества, видимо, не чувствовал. Он редко ночевал в будке, и почти всегда с косяком, или возле пруда. Жил он звериной жизнью: сам промышлял себе пищу и делал это необычайно искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. Однажды увидел Мишка, как он плел лесу из конского волоса; заинтересовавшись, спросил:

— На что плетешь?

— На рыбу.

— А где она?

— В пруду. Караси.

— За глиста ловишь?

— За хлеб и за глиста.

— Варишь?

— Подвялю и ем. На вот, — радушно угостил он, вынимая из кармана шаровар вяленого карася.

В другой раз, следуя за косяком, напал Мишка на пойманного в осилок стрепета. Возле стояло мастерски сделанное чучело стрепета и лежали искусно скрытые в траве осилки, привязанные к колышку. Стрепета Солдатов в этот же вечер изжарил в земле, предварительно засыпав ее раскаленными угольями. Он пригласил вечерять и Мишку; разламывая пахучее мясо, попросил:

— В другой раз не сымай, а то ты мне дело попортишь.

— Ты как попал сюда? — спросил Мишка.

— Кормилец я. — Солдатов помолчал и вдруг спросил: — Слухай, а правду брешут ребята, што ты из красных?

Кошевой, не ожидавший такого вопроса, смутился.

— Нет... Ну, как сказать... Ну да, уходил я к ним... поймали.

— Зачем уходил? Чево искал? — суровея глазами, тихо спросил Солдатов и стал жевать медленней.

Они сидели возле огня на гребне сухой балки. Кизьяки чадно дымили, из-под золы просился наружу огонек. Сзади сухим теплом и запахом вянущей полыни дышала им в спины ночь. Вороное небо полосовали падучие звезды. Падала одна, и потом долго светлел ворсистый след, как от удара кнутом.

Мишка настороженно всматривался в лицо Солдатова, тронутое позолотой огневого отсвета, ответил:

— Правов хотел добиться.

— Кому? — с живостью встрепенулся Солдатов.

— Народу.

— Каких же правов? Ты расскажи.

Голос Солдатова стал глух и вкрадчив. Мишка секунду колебался, — ему подумалось, что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего лица. Решившись, заговорил:

— Равноправия всем — вот каких! Не должно быть ни панов, ни хлопов. Понятно? Этому делу решку наведут.

— Думаешь, не осилют кадеты?

— Ну да — нет.

— Ты, значит, вон чево хотел... — Солдатов перевел дух и вдруг встал: — Ты, сукин сын, казачество жидам в кабалу хотел отдать? — крикнул он пронзительно, зло. — Ты... в зубы тебе, и все вы такие-то хотите искоренить нас?! Ага, вон как!.. Штоб по степу жида фабрик своих понастроили?! Штоб нас от земли отнять?!

Мишка, пораженный, медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что Солдатов хочет его ударить. Он отшатнулся, и тот, видя, что Мишка испуганно ступил назад, — размахнулся. Мишка поймал руку его на лету, сжимая в запястьи, обещающе посоветовал:

— Ты, дядя, отставь, а то я тебя помету. Ты чево расшумелся?

Они стояли в темноте друг против друга. Огонь, затоптанный ногами, погас, лишь с краю ало дымился откатившийся в сторону кизяк. Солдатов левой рукой схватил Мишку за ворот рубахи, стягивая его в кулаке, поднимая вверх, пытался освободить правую руку.

— За грудки не берись! — хрипел Мишка, ворочая сильной шеей: — не берись, говорю! Побью, слышишь?..

— Не-е-ет, ты... побью... погоди! — задышался Солдатов.

Мишка, освободившись, с силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял рубаху.

Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он попеременно с матюками выкрикивал:

— Донесу!.. Зараз же к зрителю! Я тебя упеку!.. Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как Подтелкова тебя надо! На сук! На шворку!

«Донесет... набрешет... посадят в тюрьму... На фронт не пошлют — значит к своим не перебегу. Пропал!» — похолодел Мишка, и мысль его, ища выход, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полой водой от реки. «Убить его! За душу сейчас... Иначе нельзя...» И уже, подчиняясь этому мгновенному решению, мысль подыскивала оправдания: «Скажу, что кинулся меня бить... Я его за глотку... нечаянно, мол... Сгоряча...»

Дрожа, шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над ними смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали, да пот проступил на спине и подмышками.

— Ну, погоди... Слышишь? Солдатов, постой. Не шуми. Ты же первый затеял...

И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза.

— Мало ли чево не бывает между друзьями... Я ж тебя не вдарил... А ты за грудки... Ну, чево я такова сказал? И все это надо доказывать?.. Ежли обидел, ты прости... ей-богу! Ну?

Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого:

— Крутишь хвостом как гад... Ну, да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею... А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу! Сволочь, ты! Жидам ты проданся, а я не жалею таких людей, какие за деньги продаются.

Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя Солдатов лица его не видел, как не видел и того, что кулаки мишкины сжимаются и пухнут от прилива крови в суставах.

Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, словно кто-то неведомо большой изредка смежал оранжевые трепещущие ресницы.

В эту ночь над отводом прошла гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль. Небо заволочилось тучами. Молния наискось распахала взбуренную черноземно-черную тучу, долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг, Кошевой увидел ставшую в полнеба бурую тучу, по краям обугленно-черную, грозную, и на земле, — распростертой под нею — крохотных лошадей, сбившихся в кучу. Гром обрушился с ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После следующего удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, с силой пригнул его к луке седла. С минуту черная полоскалась тишина, потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что лошадь Кошевого присела и, вспрянув, завилась в дыбки. Лошади в косяке затоптали. Со всей силой натягивая поводья, Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей:

— Стой!.. Тррр!..

При сахарно-белом зигзаге молнии, продолжительно скользившем по гребням тучи, Кошевой увидел, как косяк стремительно мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух, некованные копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить: лошади промчались и стали неподалеку. Не зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, Кошевой вновь еще громче зыкнул:

— Стойте! А ну!

И опять уже в темноте с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе Кошевой ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел: в круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и Кошевой, как кинутый пращей, вылетел из седла. Он уцелел только чудом: косяк основной массой шел правее его, поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то матка случайно вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намёте, и слышал характерный отличимый похрап Бахаря.

В будку пришел Кошевой только перед светом, весь промокший и будто распухший от обилия впитанной в тело влаги.

(Продолжение следует)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
А. ФАДЕЕВ.— Последний из Удэге. <i>Роман</i>	3
Ю. ОЛЕША.— Заговор чувств. <i>Пьеса</i>	33
Д. АЛТАУЗЕН.— Безусый энтузиаст. <i>Поэма</i>	51
М. ШОЛОХОВ.— Тихий Дон. <i>Роман</i>	63
И. МАКАРОВ.— Смерть. <i>Рассказ</i>	86
Э. БАГРИЦКИЙ.— Одесса. <i>Стих.</i>	98
А. ЖАРОВ.— Римская библиотека. <i>Стих.</i>	100
Н. ДЕМЕНТЬЕВ.— На Каланчевке. <i>Стих.</i>	103

ПЕРЕЖИТОЕ

А. И. СВИРСКИЙ.— История моей жизни. <i>Повесть</i>	104
---	-----

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Н. АЗВОЛИНСКАЯ.— Записки вузовки	128
В. СТАВСКИЙ.— Кубань накануне перевыборов	139
М. ЧУДНОВ.— Урал на Оке	149
Е. ЛОМТАТИДЗЕ.— Старинный город Гамбург	165

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ

А. СЕРАФИМОВИЧ	181
Н. АСЕЕВ	183
А. КАРАВАЕВА	187

КРИТИКА

В. ЕРМИЛОВ.— Классовая борьба в литературе	191
И. ГРОССМАН-РОЩИН.— Письма об искусстве	201

БИБЛИОГРАФИЯ: А. Селивановский.— „Добротное мастерство“ Вешнева, К. Вагинов.— „Козлиная песнь“, П. Слетов.— „Прорыв“, П. Яровой.— „На острие ножа“, Люк Дюртен.— „1.200.000“, „Голливуд“, „Сороковой этаж“ 212—223